

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Д. Н. Мамин-Сибиряк
АЛЕНУШКИНЫ
СКАЗКИ



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Зимовье на Студеной

Из-под пера Дмитрия Мамина-Сибиряка вышли живописные рассказы и новеллы. Их населяют самобытные народные типы, первые уральские заводчики, которых, по выражению писателя, отличали «ум, железная воля, самодовольство, жестокость, дикое великодушие».

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0018
III.....	.0030

**Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк
Зимовье на Студеной**

Старик лежал на своей лавочке, у печи, за-
скрывшись старой дохой из вылезших оле-
ньих шкур. Было рано или поздно – он не
знал, да и знать не мог, потому что светало
поздно, а небо еще с вечера было затянуто
низкими осенними тучами. Вставать ему не
хотелось; в избушке было холодно, а у него
уже несколько дней болели и спина и ноги.
Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы
провести время. Да и куда ему было торопить-
ся? Его разбудило осторожное царапанье в
дверь, – это просился Музгарко, небольшая,
пестрая вогульская собака, жившая в этой из-
бушке уже лет десять.

– Я вот тебе задам, Музгарко!.. – заворчал
старик, кутаясь в свою доху с головой. – Ты у
меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь
своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно
и жалобно.

– Ах, штоб тебя волки съели!.. – обругался
старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее

и все понял, – отчего у него болела спина и отчего завывала собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно – и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

– Ну, што же, значит, конец!.. – ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. – Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

– Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

– Не любишь зиму, а? – разговаривал ста-

рик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. – Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печи пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избышки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик – сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избышке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпеливо на-

блюдал за хозяином, изредка виляя хвостом.

Но и собачьему терпению бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

– Сейчас, не торопись, – ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. – Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накиннул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

– То-то вот у меня поясница третий день болит, – объяснил старик собаке на ходу. – Оно и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось, – лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку – за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой бо-

лотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь выросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

– Чему обрадовался спозаранку? – окликнул его старик. – Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

– Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек ре-

ки бечевы с поводками из тонких шнурков и волосяной леси. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

– Любишь стерлядку? – дразнил его старик, показывая рыбу. – А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом Муз-

гарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

– Скоро обоз придет, – объяснил старик собаке. – Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом – бревно подгнило, в третьем – угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

– Как-нибудь, может, перебьюсь зиму, – думал старик вслух, постукивая топором в стену. – А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и

при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то – из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер, даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пе-

режил, и вот где привел бог кончать век: умрет – некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же со старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

– А ведь стар ты стал, Музгарко, – говорил старик, глядя собаку по спине. – Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно, нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной, – смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стари-

ковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем, – вся семья была Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, – что попадет. Из дому уходили недели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам по-прежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья – два мальчика да девочка;

славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом; но на этот раз сплоховал: поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул уда-

ром лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода; остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промыслять наравне с другими охотниками, – одним словом, пришла беда неминуемая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

– Бывал на волоке с Колпы на Печору? – спрашивали его промышленники. Там на реке Студеной зимовье, – так вот тебе быть там сторожем... Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты – поблизости от зимовья промыслять можешь.

– Далеконько, ваше степенство... – замялся Елеска. – Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь.

– Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки попевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь. Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и бо-

ялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

– Ну, теперь мы с тобой на припас добыли, – объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. – А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обрабатываем... Главное – соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была – не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил, – какая цепа такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запастись ей приходилось бы пудов по двадцати, – где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро, – два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода

долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

– Скоро, Музгарко, харч нам придет...

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек – хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

– Эй, дедушка, жив ли ты?.. Примай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слышал. Он да-

же не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

– Музгарко, да ты в уме ли! – удивлялся старик. – Проспал обоз... Ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

– Эх, стар стал: нюх потерял, – заметил с грустью старик. – И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других, – шла дорогая поморская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованные, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут

погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

– И не страшно тебе в лесу, дедушка?

– А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело, В лесу выросли.

– Да как же не бояться: один в лесу...

– А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья...

Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься...

– Откуда же ты такую добыл, дедушка?

– Давно это было, почитай годов с десять.

Вот по зиме, этак перед рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, чтобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает.

Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметай, – ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нем говорят?.. Все понимает...

– Зачем он под лавкой-то лежит?

– А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранил: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

– Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

– Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну,

я тогда свечку затеплю перед образом, и сам службу пою... Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и ггары... Выйдешь на заре, там стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь перелетная птица... Я ее не трогаю, потому трудница перед господом. А когда гнезда она строит, это ли не божее произволение... Человеку так не соорудить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, поло-

щутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суется, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгинет... Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволение, свой предел... Одно-го только у меня не хватает, родной человек: который год прошу ямщиков, штобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи длинные, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

– В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

– Ах, родной, то-то уважил бы старика...

Втроем бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубашу, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

– Я тебе часы привез, дедушка, – весело говорил он, подавая мешок с петухом.

– Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди, и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

– Есть такой грех, дедушка, – весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями. – Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заморозили... Ну, оставайся с богом.

– Соболяка припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался ста-

рик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький – ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

– Што, завидно тебе, старому? – дразнит Елеска собаку, – Только твоего ремесла, што лаять... А вот ты по-петушину спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит... Нemoжeтся что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

– Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатила беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

– Музгарушко, милый!

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо

дело!..

Ходит ветер по Студеной, наметает саженьные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

– Кормилец ты мой... – плачет старик и целует верного друга. – Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютное привалилось!.. С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не осталось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная, голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учужали беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун – самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке: учужал запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прыгнул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке, – Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

– Музгарко, Музгарко... – повторял несчастный старик, целуя мертвого друга. – Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок – птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает.

– Эх, Музгарко! – повторял Елеска по несколько раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое

горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

– Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынъ проберусь! – решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилище и заплакал: жаль стало насиженного теплого угла.

– Прощай, Музгарко...

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устал хвоей, развел огонька, поел, что было в ко-

томке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

«Волки...» – мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей залаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе – это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

«Ты здесь, дедушка? – спрашивает вогул, а сам смеется. – Я за тобой пришел...»

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.